

«Всплывшая сфера крови в Нобелевскую премию» образно назвал недавнее присуждение этой премии Габриэлю Гарсиа Маркесу замечательный кубинский поэт Николас Гильен. Как и следовало ожидать, известие о новом нобелевском лауреате не встретило равнодушных, особенно в среде литераторов. Но отклик на это событие неоднороден. И характерно, что в поддержку Гарсиа Маркеса высказываются наиболее известные и талантливые писатели, подтверждающие творчеством и общественно-политической деятельностью прогрессивность и гуманизм своих устремлений. Среди них — Мигель Отеро Сильва, Хулио Кортасар, Эрве Базен и многие другие.

Ряд имен противников Гарсиа Маркеса гораздо менее разноречивы. Никто из них не рискует ужалить достоинство произведений писателя и вклад его в современную литературу. Зато объектом своих нападок они избрали его политические позиции и прежде всего симпатии к революционной Кубе, последовательную поддержку борьбы никарагуанских и сальвадорских патриотов, его уверенность в том, что мир рано или поздно придет к социализму.

Предпринимаются также попытки обернуть против Гарсиа Маркеса и вышедшую незадолго до присуждения ему Нобелевской премии книгу «Запах гуайавы», представляющую собой серию бесед писателя с редактором колумбийского журнала «Семана» («Неделя») Плисио Ангуло Мендосой. Книга дает разностороннее представление о жизненном пути Гарсиа Маркеса и его взглядах по широкому кругу вопросов — как творческих, так и мировоззренческих, — и в этом ее несомненная ценность. Но так же очевидно, что собранные в книге беседы никак не назовешь разговором единомышленников. Противники Гарсиа Маркеса пытаются идентифицировать собеседников. Однако желание редактора «Семаны» назвать писателя своим системным взглядом, как правило, разбивается о вполне определенную и самостоятельную позицию писателя. Позицию, которую он последовательно отстаивает как в произведениях своих, так и в многочисленных выступлениях и интервью.

Мы предоставляем сегодня читателям «Литературной газеты» возможность самим убедиться в этом, познакомившись с несколькими отрывками из книги «Запах гуайавы», в которых Габриэль Гарсиа Маркес откровенно высказывается по ряду актуальных проблем жизни и творчества. Следует оговориться, что не всегда та или иная точка зрения писателя представляется нам бесспорной и не во всем мы можем полностью с ним согласиться. Но, безусловно, личность и жизненные позиции Габриэля Гарсиа Маркеса вызывают большую симпатию и уважение.

И. ХУЗЕМИ

НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах я не забуду, что я все-го-нашего один из 16 сыновей скромного телеграфиста из Аракатки и никем иным не буду. В последние пятнадцать лет на меня свалилось тяжкое бремя славы, которой я ничуть не домогался. С тех пор самым трудным для меня делом было защитить мою частную жизнь. Мне удалось это, однако, защитив цену больших потерь и ограничений. И все же я смог сохранить в ней то, что мне дороже всего на свете, — любовь моих детей и друзей.

Я много путешествую, и основная цель таких странствий — желание встретиться с самыми близкими друзьями, которых, кстати сказать, у меня не так уж и много. Эти встречи всегда незабываемы, ибо только в кругу друзей я чувствую себя самим собой. Во всяком случае, я считаю себя самым верным другом моих друзей и глубоко убежден, что ни один из них не любит меня так сильно, как я люблю того из них, которого люблю меньше всех.

У тебя прекрасные отношения с двумя сыновьями. В чем тут секрет?

У меня действительно прекрасные отношения с детьми по той же простой причине, о которой я уже говорил, когда зашла речь о друзьях. Как бы я ни был расстроен, занят, рассеян, каким бы усталым себя ни чувствовал, я всегда нахожу время, чтобы побыть с детьми, чтобы поговорить с ними. Так было всегда, с тех пор, как они родились. Как только дети начали что-то понимать, в нашем доме установилось нерушимое правило — принимать все решения лишь с общего согласия. Мы все решаем четвером. Я поступаю так не из принципа и не потому, что так лучше или хуже. Просто...

— ...Я никогда не стараюсь быть на кого-либо похожим. Я стремлюсь избежать влияния как раз тех писателей, которые мне особенно нравятся.

— Поговорим о писательском ремесле. Не мог бы ты назвать тех, у кого ты учился?

Прежде всего я должен назвать мою бабушку. Магический мир бабушкиных рассказов очаровал меня, я уходил в него с головой, я жил в нем. Но ночью он впадал мне в душу, да мне приходится ночевать где-нибудь в отеле в другой части света, а просыпаюсь иногда среди ночи от ужаса, чувствуя себя одиноким во тьме. Дед же, напротив, был для меня воплощением абсолютного спокойствия, совершенно неподвластного злобности бабушкиного мира. Только он был в состоянии рассеять мою тревогу, и только рядом с ним я ощущал себя твердо, обнимая руками стоящим на земле. Странно, думаю я сейчас, что, живя во всем покое, да еще — быть врасплох, уверенным в своих силах, трезво смотреть на окружающее, — я тем не менее не смог преодолеть искушение заглянуть в мир бабушкиных историй.

Она обладала замечательным умением рассказывать самые невероятные вещи таким невозмутимым тоном, как будто только что видела все собственными глазами. Я глубоко убежден, что именно эта невозмутимость и богатство образов придавали ее рассказам такой прелесть. Создавая «Сто лет одиночества», я использовал метод моей бабушки.

— Это она повлияла на твои решения стать писателем?

— Нет. Не она, а Кафка, который рассказывал по-немецки свои истории в той же манере, что и моя бабушка. В 17 лет я прочитал «Превращение» и понял, что буду писателем. Когда я узнал, что Грегори Замза проснулся однажды утром у себя в постели, превращенным в огромное насекомое,

то, когда дети подросли, я пришел к выводу, что мое настоящее призвание — быть отцом. Помогать жене растить двух детей — лучшее из всего, что я испытал в жизни. Вообще лучшие мои произведения — не мои книги, а мои дети. — Ты посвящаешь их в свои проблемы?

— Если у меня большие трудности, я делюсь ими с Мерседес и детьми. Если они очень большие, я, возможно, поделюсь еще и с кем-нибудь из друзей. Но если они слишком большие, я предпочитаю ни с кем ими не делиться. Отчасти потому, что мне неудобно, а отчасти потому, что не хочу обременять Мерседес, детей или кого-то из своих друзей дополнительными заботами.

— Мерседес терпеливо вынесла многие мои чудачества. За несколько месяцев до начала работы над романом «Сто лет одиночества» я купил автомобиль. Потом я заложил его и отдал ей деньги, полагая, что нам их должно хватить приблизительно на шесть месяцев работы над книгой. Но чтобы написать «Сто лет одиночества», мне понадобилось целых полтора года. Когда деньги кончились, она мне ничего не сказала. Скажу более, для меня до сих пор остается тайной, как она смогла удержать мясника от пускания нас в долг мясо, а булочника — хлеб и как она уговорила хозяйку дома не взымать с нас квартирной платы в течение девяти месяцев. Все это она взяла на себя, и я не знал никаких забот.

И именно она, когда я закончил свою работу над книгой, отправила экземпляр по почте издательству «Суремариана». Однажды она призналась, что отнесла роман на почту, подумав: «А что, если вдруг окажется, что книга не удалась?»

— Я сказал себе: «Никогда бы не подумал, что никогда писать так. А раз это так, то писать интересно».

— Чем же тебя привлекало это занятие? Неограниченной возможности выдумывать самые невероятные ситуации!

— Неожиданно я открыл для себя, что в литературе существуют иные возможности, помимо тех узких и сугубо рационалистических, о которых нам твердили в учебниках. Однако вскоре я убедился, что нельзя изобретать и выдумывать все что угодно, поскольку это чревато опасностью написать ложь, а ложь в литературе даже опаснее, чем в жизни. Внутрь задушевной свободы, предоставленной творчеством, действуют свои строгие законы. Можно бросить с себя фантомный листок рационализма, но недопустимо погружаться в хаос. Недопустимо отдавать себя во власть полного иррационализма.

— То есть во власть фантазии?

— Вот именно, неограниченной фантазии.

— Ты ее не приемишь, Почему?

— Потому что считаю, что воображение есть всего-навсего средство преобразования реальности. А источником творчества всегда служит сама действительность. Неограниченная фантазия или чистый вымысел, никак не опирающийся на реальность, — самая отвратительная вещь на свете. Между воображением и фантазией такая же разница, как между человеком и говорящей куколкой.

— Какие другие писатели, кроме Кафки, оказали тебе полезные с точки зрения писательского мастерства?

— Хемингуэй.

— Однако ты не считаешь его великим романистом, а я считаю его великим романистом, но он непревзойденный мастер коротких рассказов. Или взять, к примеру, его совет, что рассказ, словно

ВО ЧТО Я ВЕРЮ

айсберг, должен опираться на ту свою часть, которой не видно, то есть на анализ, на мышление, на собранный материал, непосредственно не участвующий в повествовании. Да, у Хемингуэя есть чему поучиться.

— Грин тоже кое-чему тебя научил.

— Это один из лучших писателей, и я много читал его начиная еще со школьной скамьи. Он научил меня разгадывать тайны тропиков. Реальность в литературе должна быть не фотографической, а синтетической, и один из секретов писательского мастерства состоит в умении находить существенные элементы для этого синтеза. Грэм Грин отлично владеет всеми тайнами повествования, и я у него многому научился. Особенно заметно влияние его приемов в романе «Недобрий час».

Я не знаю ни одного писателя, кроме Грэма Грина, представление о котором, составленное только на основании его книг, так бы соответствовало его реальному облику.

— А каких авторов ты постоянно перечитываешь?

— Конрада, Сент-Экзюпери...

— Почему именно Конрада и Сент-Экзюпери?

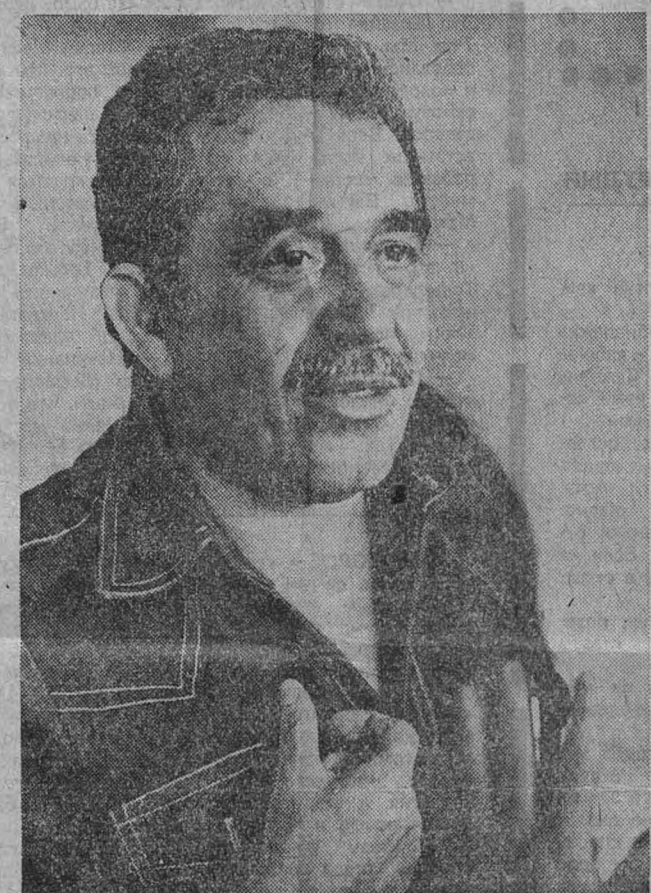
— А почему вообще перечитывают того или иного автора? Только по одной причине: потому что он нравится. Говоря серьезно, и в Конраде, и в Сент-Экзюпери меня привлека-

— Тем не менее критикам всегда казалось, что на твоих произведениях лежит тень Фолкнера.

— Разумеется. Они так настаивали на влиянии Фолкнера, что одно время убедили меня самого, что меня не особенно беспокоит, поскольку Фолкнер — один из величайших романистов всех времен. И все-таки критики прослеживают влияние совершенно непостижимым для меня способом. Если говорить о Фолкнере, то аналогии имеют скорее географические, нежели собственно литературный характер. Я обнаружил их спустя много лет, когда путешествовал по Югу Соединенных Штатов. Пыльные жаркие деревни, люди, лишенные надежды, с которыми я говорил в пути — все это очень напоминало содержание моих первых рассказов. Вероятно, подобное сходство не случайно — деревня Аракатка, где я провел свое детство, в основном была построена рабочими американс-

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС

ПОЭЗИЯ РЕАЛЬНОСТИ И ТРЕЗВОСТЬ ФАНТАЗИИ



ет присущая им обоим манера смотреть на действительность таким образом, что она выглядит поэтичной даже тогда, когда могла бы казаться вульгарной.

— А Толстой?

— Я не испытал на себе его влияния, но продолжал считать, что лучший из всех когда-либо написанных романов — «Война и мир».

— Странно, что ни один из критиков никогда не обнаруживал в твоих творчестве влияния названных тобой авторов.

— Дело в том, что я никогда не стараюсь быть на кого-то похожим. Я стремлюсь избежать влияния как раз тех писателей, которые мне особенно нравятся.

— ...Каждый писатель пишет только одну книгу, хотя она и выходит во многих томах и под разными названиями.

— Каким из созданных тобой книг представляется тебе наиболее значительной?

— Если говорить о литературных достоинствах, то самая значительная из моих книг, которая может спасти меня от забвения, — «Осень Патриарха».

— Однажды ты говорил, что был, как никогда, счастлив, работая над этим романом. Чем это объяснить?

— Дело в том, что «Осень Патриарха» — та книга, которую я всегда хотел написать и в которой, кстати говоря, я наиболее полно исповедовался.

Разумеется, эта исповедь глубоко скрыта в структуре произведения.

— Разумеется.

— Это книга, которую ты писал особенно долго.

— Целых семнадцать лет. Я отказался от двух вариантов, прежде чем остановился на том, который меня удовлетворял.

Итак, это лучшее из твоих произведений?

— До написания «Истории одной смерти», о которой я говорил, я считал, что мой лучший роман — «Полковнику никто не пишет». Я переделывал его девять раз, и мне казалось, что это самое совершенное из моих произведений.

— И все-таки ты считаешь, что «История одной смерти» превзошла его?

— Да.

— В каком смысле?

— Я думаю, что в «Истории одной смерти»... я добился наиболее полного осуществления своего замысла, чего со мной никогда не было раньше. В предыдущих книгах сама тема настолько увлекала меня, что персонажи начинали жить самостоятельной

жизнью и делать все, что им взбретет в голову.

— Прежде чем приступить к созданию очередного романа, знаешь ли ты, что произойдет с каждым из твоих персонажей?

— Только в самых общих чертах. В процессе написания книги случаются самые невероятные вещи. Первая мысль о полковнике Аурелиано Буэндиа была следующей — я представил себе ветерана наших гражданских войн, который умер в тот момент, когда молился под деревом.

— Мерседес мне говорила, что ты тяжело переживал его смерть.

— Да. Я знал, что однажды мне придется убить его. Полковник совсем состарился, но все продолжал мастерить своих золотых рыбок. И как-то вечером я подумал: «Ну, теперь ему конец! Мне придется его убить...» Доплава до конца главу, я поднялся к Мерседес на второй этаж. Когда я шел по лестнице, меня была дрожь. По моему лицу сразу же обо всем догадалась «Полковник умер», сказала она. Я бросился на постель и два часа плакал.

— Почему, что ты никогда не упоминаешь в числе своих лучших произведений «Сто лет одиночества»?

— А ведь многие критики считают вершиной твоего творчества именно этот роман. Ты действительно так его любишь?

— Да. Я дошел даже до того, что готов был физически уничтожить этот роман. После его появления все стало для меня совсем по-другому.

— Потому что слава почти всегда искажает чувство реальности. И к тому же слава

представляет собой постоянную угрозу для частной жизни.

— Быть может, успех, который принес тебе этот роман, мешает правильному оценке остальных произведений?

— Это не так. Как я тебе уже говорил, «Осень Патриарха» — произведение с литературной точки зрения более значительное. Но в «Осени Патриарха» рассказывается об одиночестве, которое приносит власть, а не об одиночестве повседневной жизни, а «Сто лет одиночества» касается жизни каждого человека. Кроме того, этот роман был написан просто, в виде последовательного изложения событий, а я бы сказал, в несколько поверхностном манере.

— Вообще каждый писатель пишет только одну книгу, хотя она и выходит во многих томах и под разными названиями. Это относится и к Бальзаку, и к Конраду, и к Мелвиллу, и к Кафке, и, разумеется, к Фолкнеру. Зачастую одна из книг настолько выделяется на фоне других, что автор известен нам лишь как создатель всего одной книги.

— Я никогда не приравнивал одиночество власти к одиночеству писателя. Я действительно утверждал, что одиночество славы сродни одиночеству власти. И продолжал считать, что нет занятия, обрекающего на большее одиночество, чем писательский труд. Ведь когда садись писать, никто не в силах тебе помочь. Мало того, никто не в силах даже понять, что ты

делаешь. От одиночества страдает и алькальд из «Палой истины».

— ...подобно Аурелиано Буэндиа и Патриарху.

— Совершенно верно. Одиночество — основная тема «Осени Патриарха», и, конечно, «Сто лет одиночества».

— В чем причина одиночества семьи Буэндиа?

— Я думаю, в недостатке любви. В моей книге говорится, что Аурелиано со свинным хвостиком был единственным Буэндиа, которого на протяжении ста лет зачали в любви. Буэндиа не способны любить — в этом секрет их одиночества. Их несчастье. Чувство одиночества для меня — диаметрально противоположное чувство солидарности.

— Однажды ты сказал, что одиночество власти сродни одиночеству писателя. Тебе не кажется, что слава и известность пробудили в тебе глубинное понимание психологии твоего Патриарха?

— Я никогда не приравнивал одиночество власти к одиночеству писателя. Я действительно утверждал, что одиночество славы сродни одиночеству власти. И продолжал считать, что нет занятия, обрекающего на большее одиночество, чем писательский труд. Ведь когда садись писать, никто не в силах тебе помочь. Мало того, никто не в силах даже понять, что ты

телефонно. Их рационалистическая структура обусловлена природой их содержания. Я ничуть не жалею, что их написал, однако считаю, что они принадлежат к типу произведений, создаваемых с определенной целью и предлагающих несколько статичное и ограниченное реалистическое видение мира. Какими бы хорошими или плохими ни казались такие книги на первый взгляд, они всегда заканчиваются на последней странице. Такие книги уже того, что я в состоянии писать.

— Что заставило тебя сменить курс?

— Долгие размышления о моем собственном труде, в результате которых я понял, что как писатель несу ответственность не только перед социальной и политической действительностью моей страны, но и перед всей действительностью во всех ее проявлениях.

— Это означает, что твой собственный опыт заставил тебя перестроить свой взгляд на мир? Отец твой был консерватор. Обычно дети наследуют политические симпатии своего отца. Но на тебя отец не оказал в этом смысле никакого влияния, ибо ты всегда был левым. Быть может, такая позиция была своего рода реакцией на взгляды твоей семьи?

— Ты ведь знаешь: хотя мой отец — консерватор, дед мой, полковник, был либералом, из тех, что с оружием в руках сражались против консервативных правительств. Вполне возможно, что именно он положил начало моему политическому образованию, потому что вместо волшебных сказок он рассказывал мне о самых страшных эпизодах из истории нашей последней гражданской войны, которую вели волюнтеры и антиклерикалы против правительства консерваторов.

— Самое яркое воспоминание, о котором тебе связано со следующим эпизодом: незадолго до его смерти, не помню точно, при каких обстоятельствах, к нему вызвали врача. Дед лежал в постели, и врач, обследовав его, неожиданно обратился к нему на широкую лезвием. Дед сказал ему: «Это след пулевого ранения». Он никогда не упоминал о шраме, оставшемся с тех времен. Когда он сказал об этом врачу, я вдруг понял, какую легендарную, героическую жизнь прожил мой дед.

— Он рассказывал мне также о массовом уничтожении рабочих банановых плантаций. Это произошло в том месте, где я родился, и как раз в том же году. Как ты можешь судить, семейное влияние побуждает меня быть ближе к тем, что бунтуют, чем к сторонникам традиционного порядка.

— А когда ты впервые познакомился с политической литературой?

— В городе Сипакпире, в лицее, где я учился. Преподаватель алгебры в лицее на переменах рассказывал нам об историческом материализме, химик давал читать книги Ленина, а историк объяснял, что такое классовая борьба. Когда я выбрался из гимназии на волю, то толком не представлял себе, где юг, а где север, зато вынес оттуда два глобальных убеждения: во-первых, что хорошие романы должны быть поэтической трансформацией действительности, и, во-вторых, что социализм — ближайшее будущее человечества.

— Поговорим о том, что нам об этом известно, — о Кубе.

— С моей точки зрения, пережив больше шрамы начального этапа, эта революция направилась по пути трудному и подчас противоречивому, но представляющему прекрасные возможности для наиболее справедливого и демократического общественного порядка.

— Анализ целиком зависит от исходной точки зрения. Ты исходил из того, что Куба — сателлит Советского Союза, а я считал, что это не так. Достаточно одну минуту поговорить с Фиделем Кастро, чтобы понять, что он не станет подчиняться чьим-либо приказам. То, что революционная Куба вот уже более двадцати лет переживает чрезвычайное положение, вызвано враждебной политикой и отсутствием какого-либо понимания со стороны Соединенных Штатов, которые никак не могут смириться с положением вещей, сложившимся на расстоянии 90 миль от Флориды. И дело здесь не в Советском Союзе, без помощи которого революционная Куба сегодня бы не существовала. Пока будет продолжаться это враждебное отношение со стороны США, нельзя говорить о Кубе иначе, чем о государстве, вынужденном сохранять чрезвычайное положение и занимать оборону, а пасмы выпущенным из своего исторического, географического и культурного окружения. Когда все станет на свои места, мы вернемся к этому разговору...

— Все латиноамериканские писатели твоего поколения занимаются политикой.

— Перевел с испанского А. МАТВЕЕВ

Фото А. КАРЗАНОВА

литических убеждений я всегда был человеком «сангажированным».

— Социализмом?..

— Я убежден, что рано или поздно мир обязательно придет к социализму. Однако у меня имеется особое мнение по поводу того явления, которое мы в нашем разговоре назвали «сангажированной» литературой. Это понятие подразумевает социальный роман, представляющий собой высшее достижение такого рода литературы. Мне кажется, что ограниченное видение мира и жизни, предлагаемое ею, не принесло никаких, говоря на политическом языке, осязаемых результатов. Эта литература не способствует процессу осмысления жизни, а скорее замедляет его. Латинские американские читатели ждут от романа большего, чем простого разоблачения угнетенной и несправедливости, о которых они и так знают немало...

— Я думаю, что роман о любви имеет такое же право на существование, как и любой другой роман. Долг писателя, если угодно, его революционный долг, состоит в том, чтобы писать хорошо.

— Какого правительства ты желал бы для своей страны?

— Такого, которое сделало бы счастливыми бедняков.

— Если ты не против, дай проследить твоей политической позиции. Отец твой был консерватор. Обычно дети наследуют политические симпатии своего отца. Но на тебя отец не оказал в этом смысле никакого влияния, ибо ты всегда был левым. Быть может, такая позиция была своего рода реакцией на взгляды твоей семьи?

— Ты ведь знаешь: хотя мой отец — консерватор, дед мой, полковник, был либералом, из тех, что с оружием в руках сражались против консервативных правительств. Вполне возможно, что именно он положил начало моему политическому образованию, потому что вместо волшебных сказок он рассказывал мне о самых страшных эпизодах из истории нашей последней гражданской войны, которую вели волюнтеры и антиклерикалы против правительства консерваторов.

— Самое яркое воспоминание, о котором тебе связано со следующим эпизодом: незадолго до его смерти, не помню точно, при каких обстоятельствах, к нему вызвали врача. Дед лежал в постели, и врач, обследовав его, неожиданно обратился к нему на широкую лезвием. Дед сказал ему: «Это след пулевого ранения». Он никогда не упоминал о шраме, оставшемся с тех времен. Когда он сказал об этом врачу, я вдруг понял, какую легендарную, героическую жизнь прожил мой дед.

— Он рассказывал мне также о массовом уничтожении рабочих банановых плантаций. Это произошло в том месте, где я родился, и как раз в том же году. Как ты можешь судить, семейное влияние побуждает меня быть ближе к тем, что бунтуют, чем к сторонникам традиционного порядка.

— А когда ты впервые познакомился с политической литературой?

— В городе Сипакпире, в лицее, где я учился. Преподаватель алгебры в лицее на переменах рассказывал нам об историческом материализме, химик давал читать книги Ленина, а историк объяснял, что такое классовая борьба. Когда я выбрался из гимназии на волю, то толком не представлял себе, где юг, а где север, зато вынес оттуда два глобальных убеждения: во-первых, что хорошие романы должны быть поэтической трансформацией действительности, и, во-вторых, что социализм — ближайшее будущее человечества.

— Поговорим о том, что нам об этом известно, — о Кубе.

— С моей точки зрения, пережив больше шрамы начального этапа, эта революция направилась по пути трудному и подчас противоречивому, но представляющему прекрасные возможности для наиболее справедливого и демократического общественного порядка.

— Анализ целиком зависит от исходной точки зрения. Ты исходил из того, что Куба — сателлит Советского Союза, а я считал, что это не так. Достаточно одну минуту поговорить с Фиделем Кастро, чтобы понять, что он не станет подчиняться чьим-либо приказам. То, что революционная Куба вот уже более двадцати лет переживает чрезвычайное положение, вызвано враждебной политикой и отсутствием какого-либо понимания со стороны Соединенных Штатов, которые никак не могут смириться с положением вещей, сложившимся на расстоянии 90 миль от Флориды. И дело здесь не в Советском Союзе, без помощи которого революционная Куба сегодня бы не существовала. Пока будет продолжаться это враждебное отношение со стороны США, нельзя говорить о Кубе иначе, чем о государстве, вынужденном сохранять чрезвычайное положение и занимать оборону, а пасмы выпущенным из своего исторического, географического и культурного окружения. Когда все станет на свои места, мы вернемся к этому разговору...

— Все латиноамериканские писатели твоего поколения занимаются политикой.

— Перевел с испанского А. МАТВЕЕВ

Фото А. КАРЗАНОВА